



УКРАИНА, 1964. НЕПРИДУМАННОЕ

Владислав ЛЕЦИК
г. Благовещенск

Вблизи тех мест, мне не чужих, сейчас гремят взрывы и умирают люди. Мы убиваем друг друга. Такое даже присниться не могло.

А наяву случиться смогло.

Почему? Тут большого секрета нет.

Смогло потому, что у одной части ещё вчера единой страны вытравили память о нашем общем прошлом. Для этого пошли в ход и недовольство людей внутренними неурядицами, и банальная криворотая зависть к чужим пирогам, которые всегда слаще.

И то, и другое подогревалось причитаниями о том, как разумно всё устроено там и как неразумно — здесь. Подогревалось — и нагрелось до фанатизма, до полного одурения, до неспособности осознать, что и там не всё хорошо, и здесь многое далеко не плохо.

Всё наше далеко не плохое было забыто.

В беспамятстве проклюнулись зёрна национализма, их ростки поднялись и зацвели ненавистью.

Беспамятство породило войну.

Значит, в ней обязаны победить те, кто не забыл это общее прошлое.

Только так. Иначе неминуем общий уход в небытие.

Кровавые распри не проходят без следа. После победы обе стороны ждёт извечная казнь рода человеческого — мучительное расчёсывание взаимных обид.

С лёгкостью вылечить дьявольский зуд нельзя. Но запускать тоже нельзя.

Целебные снадобья если и есть, то одно из них — это, наверное, всё та же память о нашем общем прошлом. Такая, которая не выносит ни лживого умиления, ни злобного ковыряния.

Память всепонимающая и, в конечном итоге, благодарная.

* * *

Неожиданный подарок приготовили мне отец и мать, когда, окончив в Благовещенске первый курс пединститута, я приехал на лето в родную Завитую.

— Поедете вдвоём с Наташкой на Украину, в гости к дядьке Ивану. Купим тебе плацкартный.

Я подумал: шутят, что ли. Отправить меня по-

ездом через всю страну? Ладно Наташка — ей тринадцать лет, она, как иждивенка, имеет право на бесплатный проезд по билету отца, почётного железнодорожника. А мне-то уже восемнадцать. Что у них — деньги лишние, чтобы тратиться на полный билет туда и обратно, да плюс расходы в дороге?..

Но они не шутили, и я начал готовиться в путь. Хотя моё дело было, как говорится, телячье — я лишь изнывал от желания увидеть украинское село — родину отца, о которой столько от него слышал. Опять же — «Вечера на хуторе близ Диканьки», Тарас Бульба... песни украинские, чуть ли не ежедневно гремевшие по Всесоюзному радио: розпрягайтэ, хлопци, коней... А в путь нас готовила мать. К чёрным сатиновым трусам, которые мне предстояло носить во время поездки, она пришила изнутри потайной карман для денег и наказала застёгивать его на булавку.

Встал вопрос о подарке для украинской родни.

В прежние годы родители, в ответ на письма отца брата Ивана, снаряжали посылочные ящички, куда клали мешочки с гречкой и сахарным песком. Отец ругался: колхоз выращивает буряки, то есть сахарную свёклу, а колхозники сидят без сахара! Войны давно нет — и такая нищета... Но теперь сахар там появился, как и многое другое. Следовало подумать о нормальном подарке.

А что полагалось возить на запад с Дальнего Востока? Конечно, красную рыбу. Я помнил свои детские годы, начало пятидесятых, когда солёная кета, стоившая копейки, была обычным дополнением к варёной картошке. Но те времена прошли. Сестра Наташка если в раннем малолетстве кету и пробовала, так уж точно про то забыла. Теперь, в тысяча девятьсот шестьдесят четвёртом, красной рыбы было по-прежнему завались в низовьях Амура, но в верховьях, в нашей Амурской области, её можно было достать лишь по благу. Мать работала счетоводом в пристанционном буфете, и хоть особого блага у неё, мелкой сошки, не было, она всё же ухитрилась раздобыть одну кетину, и не просто солёную, а нежного сёмужного посола.

Рыбина была крупная, в чемодан её пришлось укладывать по диагонали. А чтобы сёмужный

посола не вытекал, пачкая в вагоне чужие вещи, мать тщательно завернула рыбину в клеёнку, а сверху ещё обмотала чистой наволочкой.

И мы с сестрой поехали.

* * *

Солнечным и жарким был тот июль шестьдесят четвёртого. Я выходил в тамбур покурить и подолгу стоял у открытого окна, а когда не видели проводники, то и в открытых дверях. Проносились поля, перелески, потом пошли сопки, сосняки... Картинки пристанционной жизни в грохоте состава мелькали, как кадры немого кино: вот упирающуюся корову тащит на верёвке расстрёпанная тётка: загуляла, небось... в смысле — корова загуляла, дело знакомое, я и сам, бывало, нашу Майку к быку водил... Трактор «Беларусь» пылит по просёлку... Пацан жмёт на педали велосипеда — у меня такой же был, голубая «Кама», — а за пацаном с беззвучным лаем бежит рыжая собачонка, вот она садится, задней лапой яростно скребёт за ухом... Седоусый старик машет косой у обочины, из-под кепки у него выпущен белый платок — защита от мошки: так и у нас косари делают... Всё как и в нашей Завитой — а смотреть не скучно.

В Слюдянке поезд остановился у самой кромки Байкала. Я выскочил, набрал литровую банку чистой байкальской воды и отдал её Наташке. Потом не удержался: скинул прямо на берегу штаны и рубашку и бросился в эту насквозь, до самого дна, прозрачную воду. Она ледяными клещами охватила всё тело. Дно там круто уходило вниз, я развернулся на плаву и, сделав два-три гребка, нащупал ногой гальку, выскочил на берег, сгрёб одежду и помчался к вагону. Успел запрыгнуть в него до того, как проводница убрала ступеньку. Ужасно был горд этим молниеносным купанием в великом озере!

Поначалу во главе состава дымил паровоз, потом его сменил тепловоз, а после Байкала — электровоз. Мы словно въехали в новую эпоху: никакого каменноугольного дыма, никакой дизельной копоти — только электроопоры по сторонам насыпи да контактные провода вверху, поблёскивающие медью.

И всё та же невероятная июльская жара.

Наш вагон был сразу за вагон-рестораном. Но мы с сестрой обходились чаем, который разносили проводницы, а с чаем подъедали взятые из дому варёные яйца и мамины постряпушки, потом стали покупать у разносчицы пирожки, разжились пару раз у перронных торговков горячей варёной картошкой, политой маслом с мелко нарезанным зелёным луком. А о том, что вагон-ресторан рядом с нами, мы бы, наверное, и не вспомнили, если бы не один жуткий случай.

Где-то на подъезде к Красноярску через вагон прошествовал странный пассажир — здоровенный дядя в замызганных штанах и такой же рубашке, в огромных, безбожно стоптанных, без шнурков, баретках на босу ногу. Он пришёл из задних вагонов, направляясь в вагон-ресторан. Прошёл в тамбур, но дверь в вагон-ресторан оказалась закрытой. Он забарабанил в неё кулаком. Наша проводница кинулась объяснять ему, что там у них перерыв, подождать надо. Детина, обернувшись к ней небритым лицом, издал угрюмое мычание и продолжил барабанить в ресторанный дверь. Так и осталось непонятным: то ли он был немой, то ли пьяный до потери речи. Поднялся шум, явился начальник поезда, и угрюмого детину, в конце концов, увели из нашего вагона, очевидно туда, где было его место согласно билету.

Прошло немного времени — и поезд на всём ходу вдруг остановился, да так резко, что иные на ногах не удержались. «Стоп-кран сорвали!» — разнеслась по вагону догадка.

В окна было видно, как вдоль вагонов пробежал кто-то из головы состава: наверное, машинист или помощник, потом милиционер, ещё кто-то... Любопытные кинулись к выходу, и мы с сестрой среди них, но проводница сначала не выпускала никого, выглядывая наружу из дверей. Наконец разрешила выйти.

Дикая тайга была вокруг. И солнце палило немилосердно. А он лежал на спине, небритым бескровно-серым лицом к небу, вытянувшись вдоль путей на насыпи, лежал так, как его уложили, стацив с вагонной крыши. На одной ноге не было баретки: видно, слетела, когда он лез наверх, чтобы по крышам пробраться в вагон-ресторан с другого конца. Босая огромная ступня была синевато-белой, а на подошве, ближе к пальцам, что-то чернело. Я подумал — грязь,

однако тут же с ужасом понял — горелое мясо. И на плече, между шей и ключицей, в том месте, которым он коснулся контактного провода, сквозь горелую дыру в замызганной рубашке виднелась та же чернота. Вызывая тошноту, плавал в раскалённом июльском воздухе запах жареной человечины.

Недоехал бедолага куда хотел. И не дождались его где-то, если ждали.

* * *

Не считая этого печального происшествия, вся поездка вспоминается как вереница праздничных впечатлений от всё новых и новых дорожных картин, пролетавших за окном.

Смуцала одна мелочь. Примерно на третий день пути в вагоне, там, где были наши места, стало как будто чем-то припахивать. Не то чтобы противно, но и не то чтобы приятно. Я не сразу вспомнил про чемодан с рыбиной, брошенный мною на багажную полку. А вспомнил — украдкой от чужих глаз осмотрел его: не вытекает ли сёмужный посол? Не вытекал, всё было сухо. Я вздохнул с облегчением. А что чуток припахивает — так ладно уж, рыба есть рыба. Соседи тоже иногда непонимающе принюхивались, но вопросов не задавали: по случаю жары окна были тут и там открыты, свежего воздуха хватало. Да и менялись соседи постоянно.

Попутчиком нашим какое-то время был высокий тощий студент с лохматой шевелюрой, года на три старше меня. Он вошёл в вагон вусмерть пьяный, рухнул на нижнюю полку, выставив в проход длинные ноги в кедах, и полдня беспробудно спал, а проснувшись, огляделся и стал сконфуженно извиняться. Сказал, что едет в Новосибирск, учится там в университете, физик. Парень оказался деликатный. Билет у него был, а денег ни копейки, но он никого ни о чём не просил. Мы с Наташкой сами его помаленьку подкармливали: «Бери, не стесняйся!» Покуривая со мной в тамбуре, он охотно рассказывал про свою учёбу, а я слушал с ревностным вниманием. Хорошо помню: хлёсткий ветерок, влетающий в открытое окно вагонного тамбура, вся в синеве и солнце зелёная тайга — и разжигающие воображение рассказы лохматого студента про Академ-

городок, где дома построены прямо среди сосен, про академика Лаврентьева, про физматшколу, где учатся «фымышата» — одарённые старшеклассники. Ещё год назад я и сам мечтал поехать учиться на физика, но тот пыл уже угас, и теперь услышанное вызывало во мне не зависть, а всего лишь радость от того, что наша наука, как и наш электровоз, победоносно прёт вперёд, в новую эпоху.

* * *

Этот приподнятый настрой не покидал меня и в Москве, когда мы с Наташкой, ожидая свой поезд на Украину, изготовились ночевать на Киевском вокзале. В зале ожидания все скамьи были заняты сидячим и лежачим народом. Иные, очумев от усталости, улеглись прямо на полу. Но в глазах у меня всё ещё стояла ошеломительная красота впервые увиденных мною в тот день станций Московского метро, и на житейские мелочи было наплевать. Не зима же, в конце концов! И мы тоже уюстились подремать, постелив газетки на грязный каменный пол. Однако поворочались, покрутились, а уснуть не смогли — да и слава богу. Нет худа без добра. Зато не проспали ночную Москву.

Встали и вышли из вокзала в залитую огнями ночь. Я не помню пройденного маршрута, но помню, что ночь была очень тёплая, вначале даже душная — и на удивление безлюдная. Шаги наши разносились далеко. Часто попадались красные автоматы с газированной водой, а при них — гранёные стаканы. Раза два и мы попили газировки: за копейку — без сиропа, за три копейки — с сиропом. Шли, читали вывески и таблички на домах и радовались, встречая знакомые по книжкам названия улиц, переулков, театров, магазинов...

Когда рассвело, зашли в метро, прокатились в почти пустом вагоне и вдруг очутились на Ленинских горах. Растерянно оглядев с высоты бескрайнюю, в голубой дымке Москву, освещённую утренним солнцем, направились к университету. Меня остановил какой-то нежный запах. Я огляделся — и заметил на клумбе цветы. Белые, красные... Мать честная, да это же, кажется, розы! Окликнул Наташку: смотри! Ну, ей-то такие цветы были не в новинку, она с отцом на запад

уже ездила. А я, впечатлённый видом и запахом живых роз, даже забыл, куда иду.

И потому как-то неожиданно для меня он вознёсся прямо перед нами, навис вплотную — Московский университет, знаменитый храм науки. Глядя на эту громадину, будто застывшую в момент взлёта в небо, к заоблачным далям новой эпохи, я и сам застыл на месте... С волнением стал считать этажи, всё выше задирая голову. Но не добрался глазами и до середины, когда меня отвлёк странно знакомый звук. Прислушался — точно! Откуда-то с пятого, а может, с десятого этажа храма науки доносилось весёлое звяканье... перемываемых в посудомоечной раковине простецких алюминиевых ложек-вилон! Так же звякали они, родимые, и на кухне нашей затрапезной студенческой столовки в Благовещенске.

Я засмеялся — и уже снисходительно оглядел недосчитанные этажи. Не боги, значит, горшки обжигают. Надо будет — и мы сумеем.

Что сумеем? А всё!

Что понадобится — то и сумеем. Всё будет по плечу в той жизни, что смутно маячит где-то впереди.

А пока впереди была Украина, родное село отца. И там нас ждали.

* * *

Но, оказывается, не ждали.

Нет, готовились, конечно, к нашему приезду, но, как после выяснилось, вышла задержка с телеграммой, и нас на станции в Кролевце никто не встречал. Мы посидели на вокзале до темноты, а потом спросили у женщины-дежурной, где тут гостиница. Узнав, откуда мы, она всплеснула руками: «О-о, як цэ далэко!» — и позвала к себе домой, сказав, что зараз её смена закончится. В её опрятном домике полы были застелены тканями из цветных тряпочек половиками. Мы попили молока, и хозяйка уложила нас спать, предупредив, что утром уйдёт рано. Утром нас ждали на столе две кружки с молоком. Прежде чем бежать на автобусную остановку, я выгреб из кармана на стол всю мелочь — чтобы хоть как-то отблагодарить хозяйку.

Дом мы закрыли, а ключ, как она и велела, спрятали под коврик на крыльце. Маленькие хи-

трости во всей огромной стране были одни и те же.

* * *

И вот, выйдя из пузатенького автобуса, топаем сельской улицей к дядькиному дому — Наташка дорогу помнит, прошлым летом была здесь с отцом. Среди малоинтересных домов под шифером и железом (таких и в амурских посёлках полно) выискиваю глазами — и нахожу! — белёные хаты, крытые соломой. Какие они, оказывается, толстые, эти соломенные крыши! А вон — сухое дерево, а на нём, в развилке ветвей, уложено старое тележное колесо, а на колесе — огромное гнездо из сухих веточек, а в гнезде — надо же! — стоит на одной ноге живой аист.

И повсюду — плетни. Их нет в нашей дальневосточной Завитой. Там видишь или казённый штакетник, или разномастные изгороди, сколоченные из каких придётся досок, залатанные в прорехах ржавым листом железа или мотком колючей проволоки. А здесь у каждой хаты — аккуратный плетень из ивовых прутьев, с надетыми на колья глиняными крынками. А за плетнём — море цветущих подсолнухов. Классика! Совсем как в цветных фильмах про «дореволюцию».

Забавно через шесть десятилетий вспоминать себя тогдашнего. Пока ехал, упивался духом «новой эпохи» — чистеньким, без копоти, электровозом, романтикой Академгородка, величавой статьею университета. А приехал — и подавай ему замшелую старину... Но, с другой стороны, почему бы и нет? Ведь такие плетни с крынками на кольях и белёные хаты под соломенными крышами видели и красных конников Гражданской, и казаков Хмельницкого, и татар хана Гирея. В ту невозвратную даль времён никакой электровоз не домчит.

Дядькин двор тоже был огорожен плетнём, и хата была, как надлежало, белёная, вот только крыта она была не соломой, а новеньким оцинкованным железом. Это меня, балбеса, огорчило. Правда, я немного утешился, увидев во дворе за хатой крышу сарая, — слава богу, соломенную!

Знал бы я тогда, юный ценитель старины, что кровельного железа, тем более оцинкованного, сельскому жителю не так-то просто было до-

стать. Но голь на выдумки хитра. По чьей-то под- сказке дядька Иван накупил детских оцинкованных ванн, благо они стоили недорого, с помощью родственника расклепал их, расправил в листы — и, пришло время, засияла цинком новенькая крыша! Увы, эта достойная удивления история стала мне известна лишь много лет спустя.

* * *

А вот и дядька Иван. Он улыбается нам, обнимает, чмокает в щёки. «Здорово, Владик! Здравствуй, Наташа!» — «Здоровеньки булы!» — отвечаю я. «Так, так! — усмехается дядька. — Ласкаво просимо!» В отличие от своего старшего брата, моего отца, уже немного погрузневшего, он худощав и лёгок, дядька Иван, колхозный па- стух. За коровами побегай по лугам — не больно- то погрузнеешь.

А Наташка уже бурно целуется со своей ровесницей Катей — старшей дочкой Ивана, нашей двоюродной сестрой, обе радостно визжат. И я целуюсь-обнимаюсь, а заодно знакомлюсь — с женой Ивана тёткой Марусей, с его и моего отца сестрой Евдохой, тоже нашей тёткой, с пяти- летней, немного испуганно глядящей на гостей младшей дочкой Ивана, тоже Наташкой, ну а с его семилетним сыном, вёртким хлопчиком Во- лодькой, солидно здороваюсь за руку.

Проходим в хату — и неожиданная радость: в хате настоящий земляной пол! Это в книгах так пишут — «земляной». На самом деле он глиня- ный, плотно укатанный, очень гладкий. Рассы- панные по полу стебли свежесрезанной зелёной травы уже подвяли и наполняют хату сладким запахом сенокоса. А посреди хаты стоит большая печь. Да, такие вот дела — русскую печь я впер- вые увидел на Украине.

Ну и, конечно, бросились в глаза вышитые рушники, которыми были убраны и фотографии в рамках под стеклом на стенах, и иконы в углу над большим столом, возле которого уже суетилась, расставляя тарелки, тётка Маруся.

— Владык! Наташенька! — позвала она. — Проходите, сидайтэ за стол! Зараз сидать буде- мо.

— Нэ сидайтэ, а садитесь! Нэ сидать, а заутракать! — важно поправил её дядька Иван и

подмигнул нам с Наташкой. — Гавари по-руськы, а то воны не паймуты!

— Да мы поймём! — заулыбалась Наташка на его дурашливое аканье «под кацапа».

Но я, как услышал про стол и завтрак, сразу кис. Всю радость встречи отравило то нелепое и постыдное, о чём я последние два-три дня старался не думать. Сегодня совсем было отвлекся на соломенные крыши, на рушники. Рад был оттянуть время.

Однако время пришло.

— Мы вам это... подарок привезли... — сказал я.

Положил слегка, самую чуточку попахивающий чемодан на пол посреди хаты. Открыл оба замочка, откинул крышку. Размотал наволочку и, всё ещё надеясь на что-то, развернул на рыбине клеёнку.

Чуда не случилось. Тошнотворный дух ударил в нос.

— Жара... — выдавил я. — Долго ехали.

С минуту висело молчание. Потом дядька Иван сказал:

— Яка взлыка рыба!

— Дуже взлыка! — подхватила тётка Маруся. — Я и нэ знала, шо таки здоровы бувають!

Вместе со всеми смотрела на рыбину и маленькая Наташка в белом платочке, который забавно, по-старушечьи наглухо, был завязан вокруг головы — из платка только личико выглядывало с изумлёнными глазами и приоткрытым ртом.

Через много-много лет эта Наташка — Наталья Ивановна, сама уже бабушка — сказала мне:

— Я только помню, что удивилась: какая большая рыба! А запах?.. Забыла, видно.

В самом деле, всех тогда в первую очередь поразили размеры кетины. Но и душок, конечно, тоже озадачил.

— Помыть её надо, — неуверенно предложил я. — В холодной воде.

Рыбину куда-то отнесли. Сели завтракать — сидать то есть. По времени это был, скорее, обед. Красный борщ со сметаной, душистый ржаной хлеб, испечённый в русской печи, вкуснейший узвар — компот из сушёных яблок, вишен и груш... А у нас вот с сестрой не вышло, как надеялась

мать, удивить родню красной рыбкой изумительно нежного вкуса.

Да. Приехали благодетели... Ну как теперь избавиться от такого позора?

* * *

Чтобы закрыть эту тему, доскажу.

Рыба наша — мытая-перемытая — дождалась своей очереди на другой день. Большую миску с бледно-розовыми ломтями поставили на середину стола. Запах, может быть, и уменьшился, но рыбные ломти никто не смог подцепить вилкой — они разваливались на части, ошмётками падая назад в миску. Мы с Наташкой сгорали от стыда. Остальные удивлённо молчали.

Тогда дядька Иван ухмыльнулся, отложил вилку — и взял ложку. Щедро зачерпнул ею розовой мякоти, прокомментировал:

— Наче каша! (Как будто каша!)

Отправил «кашу» в рот и не спеша, якобы с удовольствием, разжевал, проглотил — да ещё и причмокнул.

Никто его примеру не последовал, но все развеселились. А у меня камень с души свалился.

Так снял проблему дядька Иван.

* * *

И началось моё лёгкое, как вход ножа в масло, вживание в эту восхитительную смесь глубокой старины с привычной повседневностью, деревенских обычаев с городскими веяниями, украинского языка с русским — и всё это при чудной летней погоде, среди чудной природы. Иногда это было даже не вживание в новую для меня жизнь, а словно припоминание забытой, но давно знакомой жизни. Будто я и раньше ходил просёлочной узкой дорожкой через поле высокой усатой ржи, которую здесь зовут жито. Будто всегда пролетал неспешно надо мной чёрно-белый аист с длинным красным клювом, называемый здесь чёрногуз...

Но открытия, в общем-то, подстерегали на каждом шагу. Вот подходим к колодцу. Катя, наклонившись, кричит в его глубину: «Эй!» — и снизу вылетает в ответ гулкое: «Эй!.. эй!..» — А она нам: «Слышите, какая луна?»

Почти ежедневно, уловив минутку, записываю в специально припасённую тетрадь:

Эхо по-украински — «луна». А луна — «ми-сяць». Радуга — «райдуга». Ладонь — «долбня». Ботинки — «черевіки»...

А что-то и просто смешило. Услышав, что в селе есть корчма, я подумал: «Ух ты!» — и представилась мне пушкинская корчма на литовской границе. Пошёл глянул — а это всего лишь разнесчастный буфет: прилавок со стеклянной витриной, установка для полосканья стаканов, три столика под голубым пластиком.

Или: «Куда ж ты без картуза? — всполошилась тётка Маруся, когда я собрался пройтись по селу. — Сонце ж голову напече! Ось тобі картуз!» — И подаёт мне... обычную серую кепку. Её оставил Николай, сын тётки Евдохи, который служил в то время в армии. Картуз — надо же!..

Но продолжим от печки. От русской печи. Тётка Маруся выпекала в ней хлеб — на целую неделю. Пышные ржаные караваи заворачивала в холстину и укладывала в скриню — огромный деревянный сундук. Они там всю неделю сохраняли свежесть и упругость. Такого вкусного хлеба мне едать больше нигде не пришлось. А сверху на печке сушились, вперемежку с плодами вишни, нарезанные ломтиками яблоки — крышені, то есть крошеные. Из сушёных яблок, груш и вишен здесь варили без всякого сахара сладкий узвар.

Яблоки... Сколько же их росло по селу! Я видел яблоню, настолько густо усыпанную плодами, что под их тяжестью обломилась у самого основания здоровенная, толщиной сантиметров пятнадцать в месте перелома, ветка. Дядька Иван сказал, что этой весной яблони хорошо цвели, всё село было белое — наче простыня!

Сортов яблок, объяснил он мне, много. Есть поздние — пепенка, антоновка, их мочить хорошо. Есть ранние — белый налив, спасовка, которая к Яблочному Спасу отходит.

— Спасовка вкусная, но не дуже крупная, не дуже красивая. Теперь её редко кто сажает. Теперь вси хочуть крупных яблок, красных, красивых, шоб москвичи на базаре лучше брали.

Да вот только, как я понял, нет ни у колхоза, ни тем более у частных хозяев возможности вывезти на базар всю эту пропасть яблок.

— И куда ж вы их деваете?

— А! — махнул дядька рукой. — Свиной гондуюмо.

— Фрукты — свиньям? — возмутился я.

* * *

Но возмущался я, честно говоря, лишь так — для порядка.

Ничего нового для меня не открылось.

Да, тут яблоками свиней кормят, а у нас в Приамурье дети только на Новый год яблочко и попробуют. Где-то реки красной рыбой кишат, а где-то (почти везде!) этой рыбы в магазинах днём с огнём не найдёшь... Ну и что? Кого в стране удивишь вездесущей bestолковостью и вечной того-сего нехваткой? Страна смеётся над анекдотами: американцы слетали на Луну, вернулись и говорят: по Луне человек бегаёт. Наверно, русский. Почему русский? А потому что без носков, небритый и закурит стреляет. И правда: то носков нигде не достать, то сигарет, то бритвенных лезвий. Да много чего...

Время-то на дворе какое? Тысяча девятьсот шестьдесят четвёртый год новой эры (как пишут в учебниках истории) и последний год хрущёвского десятилетия (как напишут вскоре где только можно). Уже давно кукурузник Никита известен народу как виновник всей bestолковщины в государстве.

Но не будем тратить время на ковыряние в болячках.

Во-первых, осенью — уже вот-вот! — Никиту Хрущёва и так, к всеобщему ликованию, нежданно отправят в отставку. Только поможет ли эта отставка довести до ума управление хозяйством страны — большой вопрос.

Во-вторых, хоть в анекдотах и бегаёт русский по Луне без носков, а на деле пока что именно наши космонавты с каждым новым полётом вставляют фитиль американцам, опережая их во всём. И против этого факта тоже не попрёшь.

В-третьих — самое главное, — в нашем рассказе мы ещё услышим суровые высказывания. Подождём чуток.

А в-четвёртых, в такое роскошное украинское лето просто лень возмущаться чем бы то ни было.

* * *

В то лето, погожее, солнечное, то и дело перепадали короткие дожди. Грибные. А к селу примыкал лес, весёлый такой лесок, и широколиственный, и сосновый. И провожатый по грибам у меня был — семилетний мой двоюродный брат Володька. Хлопчик, как я уже сказал, вёрткий. Даже чересчур. От работы отвертеться всегда готов.

— Володька! — кричит ему Иван. — А ну, отжені гусей на луг!

— Нэ хó-очу, — вредничает сынок.

— Жені, кому казав! — И хворостоиной на него.

С трудом удаётся заставить пацанёнка «отженить», то есть отогнать гусей на луг.

Зато за грибами идти — Володька тут как тут. Впереди бежит, все лучшие места знает наперечёт: где искать беляки (белые грузди), а где билые (белые грибы). Я легко усваиваю местные названия: бабка — подберёзовик, красноголовэць — подосиновик, вóлнянка — волнушка. Маслюк и сыровыжжка — тем более понятно. А самый урожайный гриб — пóддубень. Не знаю, как он правильно называется по-украински, а как по-русски, но мне, как вспомню наши грибные походы, так и видятся россыпи в траве этих светло-коричневых мясистых лепёшек — пóддубней. Домой всегда возвращаемся с полными корзинками.

* * *

Гусей отогнать на луг было для Володьки сущим наказанием, но на рыбалку туда же он рад был бегать хоть каждый день. И я охотно к нему присоединялся. В заливных лугах у реки Сейм — в ту пору, к середине лета, уже скошенных, — были разбросаны озёрца, небольшие, но глубокие. Рыба в них, хоть и некрупная, водилась. Привычной мне с детства амурской мелочёвки — ротанов и голянов — не было, зато неплохо шли на удочку не встречаемый на Амуре полосатый окунёк (ах, как стремительно он брал на-

живку!), а также плитка (плотва), бобыр (ёрш), пичкур (пескарь) и даже небольшой вьязь, то есть язь.

Володька и его приятели — такие же шустрые и крикливые — предпочитали ловить не на удочку, а клывней. Это что-то вроде большого сачка из рыболовной сетки на прямоугольной деревянной раме примерно метровой ширины. Клывню двое пацанят заводят в воду, как маленький бредень, и ведут к берегу. При этом наблюдатели с берега азартно вопят: «Дави на куль!» Это означает: плотнее прижимай нижнюю сторону рамы к озёрному дну, чтобы рыба понизу не уходила из сетки.

* * *

На этих заливных лугах и пас колхозных коров дядька Иван.

В обеденное время можно было увидеть, как колхозная машина везёт на дневную дойку голосистых доярок, и песня их летит над полуденными лугами, над извилистым, отороченным густыми зелёными вербами Сеймом.

Украинская песня, разумеется.

Но не только.

Помню: в солнечный полдень едут хохлушки в машине с деревянными бортами, едут, как ездили и наши амурские колхозницы: стоя в открытом кузове, держась за кабину. Они поют, а машина подпрыгивает на луговых кочках — и с плясовой чёткостью попадает в такт её подпрыгиваниям... русская «Коробушка», такая неожиданно смачная:

*Вот и пала ночь туманная,
Ждётся удалый маладэць.
Ось идё-о-оть — прыйшла желанная,
Продаёт товар купэць!*

Но что удивляться... У нас в Завитой, когда людная гулянка вываливала из-за столов на улицу с баяном, обычно сыпались частушки, забористые и бесцеремонные, самые что ни на есть русские — русее не бывает:

*Завитинские ребята
Завлекают горячо:*

*Кепка влево, чуб направо
И сопля через плечо!..*

Однако язык в момент мог поменяться — и тогда по улице дружно несло:

*Ты ж мэнэ пидманула,
Ты ж мэнэ пидвела,
Ты ж мэнэ, молодого,
З ума-розуму звела!*

Кто бы что ни говорил, а страна была одна...

* * *

В жаркий полдень дядька Иван, оставив стадо на подгаска, подошёл к озерцу, где мы с Володькой рыбачили. Тоже позабрасывал немного удочку, а потом разделся и окунулся вместе с нами в озерцо, охладился.

Я увидел у него на теле шрамы. Спросил. Оказалось — да, военные.

* * *

Его забрали в армию в сорок третьем, как только немца из этих мест прогнали. (Другой дядька, Иванов старший брат Николай, воевавший с самого начала войны, погиб, осталась от него только фотография в будёновке.) На фронте дядька Иван был и стрелком в пехоте, где получил ранения, и сапёром — там ранений уже не было, и слава богу: известна же поговорка, что сапёр ошибается один раз. Я запомнил строевую песню, которую слышал только от него. Пел он её с воодушевлением:

*Идут отважные сапёры
За землю, за народ,
Бьют немца, жгут моторы —
Вперёд, друзья, вперёд!*

От него впервые услышал и про главный инструмент сапёра — шуп з довгою голкою (с длинной иглой) на конце. «Идэшь або ползэшь дуже сторожко — и прокóлюешь перед собою голкою кожен сантиметр земли. Нашчупав шось твёрдое — тоди руками обережно розгребаешь землю...

— Показывал две свои военные медали. — А третью мэдальку Володька малэнький кудысь подивав».

За обедом показывает нам с Наташкой свою ложку. Она у него не такая, как все прочие в доме, а старинная, оловянная. И черпало у неё с одного боку будто откушено — стёрлось от долгого употребления.

— Бачитэ, скільки я уже отъел? — смеётся. — Як всю ложку съем, тоди и помру.

Меня, помню, как-то подводит к их с тёткой Марусей деревянной кровати, сооружённой из толстых плах. Говорит:

— Того плотника, який цю кровать зробив, в чотырнадцятому роци на войни убито. Ще в Первую мировую. Ось яка стара!

Чуть ли не по любому поводу дядька мог выдать прибаутку. Увидел, что Наташка чистит ножичком яблоко, поднял щепоть очисток, посоветовал:

— Ты, Наташа, лушпайки не бросай, заberi их с собою в Завитую.

— Зачем?

— А як же? — ухмыльнулся дядька. И рассказал, как цыган залез в огород и наворовал целый мешок огурцов. С голодухи сразу полмешка слопал, потом стал чистить огурцы ножичком. Все их доел — только куча лушпаек осталась. Довольный: брюхо полное! А лушпайки обосцяв — чтобы показать: ось який я сытый! И пошёл дальше. Однако походил, походил — знову исты хочеться. Вернулся к куче лушпаек. Взял одну, со всех сторон осмотрел. «А ця наче не обосцята!..» И отправил в рот. Другую взял, осмотрел. «И ця тэж не обосцята!.. И ця...» Так всю кучу и съел.

* * *

Когда я расспрашивал дядьку о сельской старине, он охотно объяснял детали прежней жизни. Ссылался на то, что слышал от стариков или сам помнил, но раза два приводил для примера сценки из шолоховского «Тихого Дона»: быт у донских казаков и украинцев в старые времена имел немало сходства, хоть и случались между ними соседские драки. Дядька очень уважал этот роман. Читал его, между прочим, на русском языке, хотя

пересказывал большей частью украинскими словами. «А крыша на тому млыни була з очерету». («А крыша на той мельнице была из камыша».)

Так я узнал, что дядька Иван не чужд художественной литературе.

Но оказалось, что он не чужд и литературоведению. После окончания войны его ещё года на два задержали в армии — тогда и просветили.

— А вот была такая Ахматова чи Ахметова, — сообщил он мне с весёлым удивлением. — Так она всю войну про кота и кицьку писала. Цэ на политзаняттях нам говорили... — Помолчал и радостно ухмыльнулся: — А ще був такий Зоценко. Тот всю войну писав, який вин нещасливий: чотыри раза оженився — и все нияк жинку хорошу нэ може знайти.

Я возразил, что и Ахматову, и Зоценко просто оболгали, попытался объяснить, какие это замечательные писатели. Однако дядька пропустил мои объяснения мимо ушей. Лет через десять я смог снова побывать в тех краях, и он всё с тем же весёлым, ничуть не угасшим удивлением снова мне сообщил: «А вот была такая Ахматова чи Ахметова... А ще був такий Зоценко...»

Пусть заклеят меня мракобесом, но теперь, на закате своих лет, я не очень-то и горюю, что он пренебрёг правдивой информацией об этих писателях.

Правдивое не всегда бывает той правдой, которая нужна человеку.

Конкретному человеку.

В самом деле: что бы произошло, если бы дядька Иван осознал, как незаслуженно этих двоих унизили? Стал бы вникать, что там они писали? Их жизни и его жизнь — это разные миры. У него своих проблем выше горла. И справляться с этими проблемами ему если что и помогало, так это умение видеть в жизни смешное.

И Ахматова, пишущая про кота и кицьку, и Зоценко, четырежды несчастливый женатик, — оба они для не очень-то заласканного судьбой сельского пастуха были не реальные люди, а всего лишь забавные в своей нелепости персонажи. Вспомнит их, посмеётся лишний раз — и жить вроде легче.

* * *

О том, что дядька, оказывается, и сам пишет стихи, я узнал лишь перед самым нашим отъездом домой. Случилось это 19 августа, на Яблочный Спас.

В их большом селе когда-то имелись две церкви, стоявшие в двух его концах. Обе к тому времени давно были снесены, высилась лишь одна краснокирпичная колокольня (её, если верить местным слухам, сам Будённый приказал сохранить как наблюдательный пункт). Но в селе по-прежнему отмечались два престольных праздника. В том конце, где жила семья Ивана, стояла когда-то церковь Успения Богородицы, и поэтому здесь праздновали Пречистую. В этот день, 28 августа, дядька Иван и тётка Маруся собирались принимать гостей — нашу родню с другого конца села. Но мы с Наташкой на эту дату уже не успевали. Зато у нашей родни, что проживала в другой части села, престольным праздником был Яблочный Спас (по стоявшей там в давние годы церкви Преображения Господня). Туда-то 19 августа я с дядькой и ходил в гости.

Побывали мы с ним в двух, а может, в трёх хатах. Ничего религиозного не припомню. Просто многолюдные застолья с дружными песнями за столом. У нас на Дальнем Востоке застольное пение обычно начиналось с песен про беглых каторжников («По диким степям Забайкалья», «Бежал бродяга с Сахалина»). А здесь фирменной застольной была «Туман ярмом, туман долиною...» — про дивчину, уронившую в криницу (колодец) золотое ведёрко, и козачка молодёнького, который вызвался это ведёрко достать. Столы были заставлены самой разной закуской (впервые в жизни я попробовал жареную гусятину). В «полустаканчики» — гранёные стопки — щедро лился самогон. Я, по юному пока ещё возрасту, почти не пил, зато дядька Иван заметно развеселился. Домой я вёл его под руку, а он всё порывался запеть то «За туманом ничего не видно...», то «Идут отважные сапёры...» Однако до дому мы добрались благополучно — и засветло.

В нашей хате застолья, конечно, не было, но к тётке Марусе пришли на посиделки подружки-соседки. Все нарядные, в цветастых полушалках: тоже только что вернулись оттуда, где отмечался

Спас. Они сидели по лавкам, щёлкали семечки, бросая шелуху на глиняный пол (ничего, хозяйка приберет!), и перемывали подробности прошедшего гулянья.

Дядька Иван оживился, стал отпускать шутки, подкалывая то одну гостью, то другую, а те отвечали ему то хихиканьем, то взрывами хохота. Тётка Маруся, щёлкая вместе со всеми семечки, тоже посмеивалась. Она к таким выходам мужа на публику, похоже, привыкла.

Вдруг дядька вытащил из кармана мятую бумажку, расправил её и стал громко читать стихи. Они так и полились у него — лёгкие, с живой ритмикой, сложенные в традиционном духе украинской народной поэзии — и неприличные в том же духе. Слушать было весело. Однако как же я оторопел, когда до меня дошло: да ведь он их не откуда-то переписал! Он их сам сочинил!

Стишки были злободневные, про недавний случай в селе. На прополку буряков — сахарной свёклы — отправили звено колхозниц. У одной из них был день рождения, и она притащила бутылку самогонки. То ли бабы сдуру хватили лишнего, то ли солнце им в голову ударило, но они устроили прямо на буряковом поле пляску с хохотом и визгами. Полевой сторож, дед Балабан, попробовал утихомирить их — да куда там...

Жаль, остались в памяти только две строфы:

*Филимонова сноха
Пишла танцюваты,
Стала своей писею
Мужики вякаты.*

*Як злякався Балабан,
Залиг у полóси.
Вже и бабы розийшлись,
А вин там и дóси.*

Да, вот ещё две строчки припоминаются:

*Филимонова сноха
Спидныцю порвала...*

Лякаты — если кто не знает, — значит «пугать», злякався — «испугался», залиг — «залёг», спидныця — «юбка», дóси — «до сих пор». Но дело не в этом.

Были в стихах названы — по именам, а может, сельским прозвищам — и другие бабы, однако мне они были незнакомы и потому не запомнились.

Что же касается «Филимоновой снохи», то, удивлённый внезапно открывшимся фактом дядькиного стихотворчества, я не сразу сообразил, что это же... тётка Маруся собственной персоной! Жена поэта, так сказать. Её свёкор Филимон — это был отец дядьки Ивана, тётки Евдохи и моего отца, а мне родной дед! Посмотрел на тётку Марусю — а она щёлкает семечки и усмехается как ни в чём не бывало. Не первый, значит, раз слушает вирши о себе. Ну и ну!

* * *

Тут я должен сделать вставку в наш рассказ.

В самый разгар написания этих воспоминаний, летом текущего, 2025 года, пришла поразившая меня новость. Именно новость, хотя она и касается того далёкого времени.

Я упомянул, что пытался вызвать у дядьки Ивана сочувствие к судьбе Ахматовой и Зощенко, которые пострадали из-за того, что их писания были якобы оторваны от суровых реалий жизни.

Разве мог я тогда представить, что дядька Иван тоже страдает за свои писания? Но прошло каких-то три года после нашего с ним знакомства — и такое случилось! Причём наказали его не за отрыв от жизни, а как раз наоборот — за то, что слишком влез в эту жизнь, написав о людской подлой чёрствости.

Вот это и стало для меня запоздалой новостью.

И всплыла эта новость из омута времени совершенно случайно.

Старшая дочка моего дядьки, Катерина Ивановна, узнав, что я пишу об их селе и интересуюсь стихами отца, сообщила, что сохранилась его записная книжечка, куда он, для учёта своих выработанных трудодней, вносил записи о работе в колхозе по месяцам и числам: «Жовтень (октябрь). 1. Возив солому. 2. Розгружав и нагужав картошку... Листопад (ноябрь). 4. Крыв конюшню...» В той книжечке были и стихи, за которые над дядькой Иваном учинили расправу. Катя прислала их мне и рассказала, как всё произошло.

А было это в бѣрезне (марте) 1967 года. Дядька Иван работал тогда уже не пастухом, а конюхом на колхозной конюшне. Думаю, что приведѣнные ниже вирши будут понятны и без перевода. Итак...

В сельской больнице умерла пожилая женщина, вдова фронтовика, выростившая одна четырёх дочерей и проработавшая в этом колхозе всю свою жизнь.

*Десятого березня
Померла людина,
Чоловік її давно
на фронті загинув.
Проробила у колгоспі
Десь за п'ятдесят
І зростила в одиночку
чотырьох дівчат.
І пішов в бригаду зять
Коня попросити,
Щоб забрать з больниці тещу
Тай похоронити.
А наша бригадірша
Не з той ноги встала,
Вона тому мужикові
Коня відказала.
Я не знаю, як було,
Хто поміг (помог) в том ділі,
Тільки знаю, що забрали
Тай похоронили.*

И автор выражал надежду, что бездушных подлецов ждѣт расплата:

*Ой ви, хами, бюрократи!
Приїде й на вас час,
Не будете на цім світі
Більше панувать!*

Дальше, как сказала мне Катя по телефону, были выражения покрепче, но она постеснялась их переписать.

Своѣ сочинение дядька Иван прочѣл в бригаде вслух, под одобрительные возгласы слушателей. Но нашлись услужливые, показали бригадирше забытую автором бумажку с виршами. Бригадирша взъелась: «Раз вин такой писака — то нѣхай идѣ до Андрия Говорухи!» — и в два счѣта выперла стихотворца из конюшни.

Андрия Говоруха был селькор, сотрудничавший с районной газетой. Но дядьке-то Ивану куда было идти? Только на разные работы — «куда пошлют». А он очень любил коней, о чём говорили мне и его дочери, да и сам он признавался в позднейшей приписке к стихотворению — в «постскриптуме», можно сказать:

*А за цього ось віршá (из-за этого стиха)
Мене попросили
І з любимими кіньми (конями)
Мене розлучили.*

После этой истории дядька Иван так и скитался до пенсии по разным колхозным работам.

Но вернѣмся в шестьдесят четвѣртый год, к стихам про бабью пляску на буряковом поле.

В них упомянута «Филимонова сноха». И это — повод пояснить, что почти все семьи в тамошних сѣлах, кроме паспортных фамилий, носили уличные прозвища: часто по имени старшего в семействе, а то и по прозвищу отдалѣнного временем предка.

Не только «Филимонова сноха» тѣтка Маруся, но, конечно же, и сам дядька Иван, и его сестра тѣтка Евдоха, и их дети, и даже мы с Наташкой были для всех в ближайшей округе в первую очередь Филимоновы. Деда Филимона давным-давно никто в селе не видел, но мне старики при знакомстве говорили: «Ты, значить, сын Грицька?.. Понятно... — И непременно добавляли: — Филимонов! — Или даже: — Хвилимонив!» И одному Богу известно, как долго ещё предстоит нашей родове носить это уличное прозвище.

* * *

Уж не помню, то ли дядька Иван мне рассказывал, то ли отец, что, когда немцы оккупировали село, один полицаи из местных тайком сообщил Филимону, что ночью за ним придут, потому что у него на Дальнем Востоке есть сын-коммунист, и это всем известно. «Ховайся кудысь! Найкраще тикай в лис!» И ушѣл дед в лес, набрѣл на партизан и всю оккупацию пробыл в отряде, работая у них при кухне.

Первую свою жену наш дед, Филимон Михайлович, похоронил ещё перед войной. А сразу после войны мой отец перевёз его на Дальний Восток, в город Сквородино, где мы тогда жили. Нашлась деду какая-никакая, но отдельная халупа на окраине таёжного городишки, и стал он пасти частных коз на склонах сквородинских сопок.

* * *

Вскоре после нашего переезда из Сквородина в Завитую дед Филимон побывал у нас в гостях. Отец думал помочь ему подыскать жильё, чтобы он тоже к нам переехал. Куда-то они с отцом наведывались, что-то выясняли, но так ничего и не нашли. Я тогда ещё только в первый класс пошёл, но мне уже было понятно, что дед и не горел особым желанием что-то найти.

Невозмутимый и беспечный — из тех, про кого говорят: ему и трава не расти, — он сидел у нас на кухне и попыхивал трубной с самосадам. Время от времени, легонько побарабанив пальцами по столу, говорил себе под нос: «Хм, так, так! Такé дило!» Иногда брал лежавший на столе «численник» — отрывной календарь на новый, ещё не наступивший 1954 год. Я-то этот календарь уже не раз успел полистать — и про трёхсотлетие воссоединения Украины с Россией вычитал в нём, и про Богдана Хмельницкого впервые откуда узнал. Но дед лишь минуты две-три перелистывал странички, что-то, бывало, и прочитывал, отведя календарик в руке подальше и выпятив нижнюю губу, а потом, неопределённо хмыкнув, откладывал в сторону.

В сколько-нибудь продолжительный разговор деда невозможно было втянуть. Мать наша потешалась: у него на всё на свете — одно только «такé-такé». И правда, он всегда отвечал односложно, двумя-тремя словами, никогда не споря, всегда или добродушно удивляясь чему-то, или согласно кивая головой: «Ай-я-яй, ты кажи! Ты дывись! Ось яке дило! Таке, таке!»

Я от отца знал, что дед Филимон воевал ещё в ту германскую войну, которая была аж при царе, и всё лез к нему с расспросами: много ли он немцев убил. Но дед только пожимал плечом:

— Стриляв з окопу кудысь туды. А вбивав чини — нэ знаю. Може, и вбив кого.

Правда, он чётко назвал мне номер своей винтовки. Это мне тогда запомнилось — хотя удивило лишь через годы, когда я понял, что сам-то забыл начисто за короткий срок номер своего армейского карабина.

* * *

Много позже, уже на Украине, я слышал от родни такую историю — из двадцатых, примерно, годов. Поехал Филимон на базар в Кролевец покупать себе новые штаны, потому что на старые уже и заплату ставить было негде. Ну, поехал — а вернулся назад в старых штанах.

— Ты шо ж, не купив штаны? — спрашивает Параска, его первая жена.

— Купив, — отвечает Филимон. — Хорóши таки штанци, дуже красыви.

— А дэ ж воны?

— А мэни якийсь цыган дав за них аж на дэсьять копийок бильше — то я ему их и продав!

В этой истории он весь, дед наш Филимон, — весь с головы до пят!

* * *

Рассказ про деда Филимона будет неполон, если не рассказать о его второй жене.

И не хочется — да куда денешься.

Она была из Брянской области. Не знаю: то ли он её там и нашёл — Брянщина-то рядом с Сумщиной, — то ли уже в Сквородине встретил. Толстая неряшливая баба. В послевоенном сорок шестом дед Филимон привёз её познакомиться со своей роднёй — и её здесь сразу возненавидели. Что после неё долго пришлось вшей выводить, — это бы ещё простили: в то время насекомых в дороге и чистюля наловить могла. Но всех поразили её лень и наглость. Целыми днями напролёт она сидела в хате и грызла тыквенные семечки. А когда попросили помочь картошку копать — послала всю мужнину родню на три буквы: «Стану я тут на вас горбатиться!» Заикнулись робко: не может ли она с грошами хочь трошки выручить: время-то голодное, детей кормить нечем, — так запричитала с великой скорбью в голосе:

— Ой, мои родимья! Ой, родненькия, любез-

няя! У меня ж бядя приключилась: крысы деньги поели! Христом-богом клянуся, поели!

А на самогонку деньги каждый день находит, вечно от неё разит, да ещё и Филимону втихаря наливает. А тот молчит, глаза прячет. Увёз её по-быстрому — и за то спасибочки.

* * *

Уже когда я классе в седьмом учился, приезжал на Дальний Восток мой двоюродный брат Николай, сын тётки Евдохи, тоже, как и я, племянник дядьки Ивана. Жил какое-то время в Сквородине, работал там кем-то, а квартировал у деда Филимона в его халупе. Потом заехал к нам в Завитую, рассказывал:

— Со мною с работы хлопцы приходили. Выпьем, поговорим. Ну, дедам нальём. Они клонут трохи — и спать. Лежат вдвоём — баба така товста́, здоровенна, а дед рядышком такий худэнький, сухэнький. А хлопцы говорят: гляди, дед под сопкой спит!

Удивительно, что Филимон Михайлович, несмотря на чудовищный режим — непрерывное курение злого самсада и частые возлияния с дражайшей супругой, — лет до семидесяти с лишком находил силы бегать по таёжным окрестностям Сквородина за стадом коз. Но вышел срок и такому здоровью. В том самом шестьдесят четвёртом, когда мы с Наташкой уже ехали с Украины назад, отец через своих сквородинских знакомых известил деда и бабуку, когда поезд сделает остановку в Сквородине, — и они пришли на перрон повидаться с нами. Вернее сказать, бабука привела деда. Был он худенький, сгорбленный. Я и Наташка по очереди громко поздоровались с ним, и обняли, и поцеловали. После чего дед огляделся и, трясая головой, спросил: «А дэ Владик? А дэ Наташа?» Мы растерялись: да здесь же мы, деда! И опять — обнимания, поцелуи. А он через минуту — снова: «А дэ Владик? А дэ Наташа?..»

Тяжело и грустно. Но так было.

* * *

Дед Филимон Лецик происходил из крестьян-бедняков. Судя по совсем не украинской фами-

лии, предки наши, православные хохлы, бежали когда-то на земли Слободской Украины, под защиту Белого царя, из Польши, прихватив, как это нередко бывало, фамилию то ли своего пана, то ли, что в нашем случае вероятнее — фамилию панского арендатора. А первую свою жену Параску (Прасковью, нашу с Наташкой родную бабуку по отцу) дед высватал в соседнем селе, и была она не из крестьянского сословия, а из украинского казацкого рода Яценко. Отец мне говорил, что в детстве видел у матери казённую бумажку с печатью, где было записано, что казачке Прасковье Яценко принадлежит одна десятая пахотной земли. Видимо, это был размер приданого нашей бабуки — тоже, как я понимаю, весьма небогатого.

Ещё отец говорил, что в том соседнем селе, откуда Прасковью взял в жёны Филимон, по-прежнему живёт её родной брат — Дмитро Яценко. Нам с Наташкой и детям дядьки Ивана он приходится двоюродным дедом. И очень этот дед интересный, очень непростой.

Но я как-то мимо ушей пропустил отцовы слова. И только приехав сюда, в разговорах с дядькой Иваном по-настоящему загорелся любопытством.

По всему выходило, что этот дед, ровесник Филимона, даже близко не был на него похож.

* * *

Яценко-то, Яценко — но, оказывается, было у деда Дмитра и уличное прозвище. Да такое, что, услышав его в первый раз, я внутренне похолодел и ошетинился.

«Бандёр» было прозвище.

— Это что... вроде как бандеровец, что ли?

Не знаю, как в других частях Украины в те годы, но здесь, на Сумшине, слова «Бандера» и «бандеровец» были, как и в России, сродни проклятию.

— Та ни! — усмехнулся дядька Иван. — То старое призвище. Дуже старое. Ще в турецькую войну прийшов в село якийсь солдат и пристал в примы до одной молодухи. Той солдат, люди кажут, був пушкарь — бомбандер, чи як там...

— Бомбардир?

— Мабуть, так! — кивнул дядька. — По нему весь род и прозвали: Бомбандер-Бандер. А Дмитро — он тому пушкарю внук.

* * *

Звание бомбардира в артиллерии — я недавно специально заглянул в интернет — соответствовало званию ефрейтора в пехоте. Хотя и маленький, а всё же чин. Было чем щегольнуть отставному солдату перед земляками-хохлами.

В те годы я как-то не обратил внимания на одну особенность. Прозвище деда Дмитра здесь все произносили почему-то не на украинский лад, как следовало бы ожидать от украинцев (то есть не через «э», как «Бандэра» и «бандэровец»), а чисто по-русски, по-расейски, если хотите, с мягким «д»: «Бандер». Оно и понятно. «Бомбандер» — словцо-то, как ни крути, именно русскими солдатами к употреблению приспособленное: чтобы с языка легче слетало. А то ведь, пока «бомбардир» выговоришь, турки у тебя пушку отобьют.

«По-расейски», бомбандером, привык именовать себя и солдат царской артиллерии украинец Ященко.

Так что Бандэра здесь был, к моему великому облегчению, ни при чём.

* * *

Ни при чём-то оно ни при чём... Но всё же тень недоброго имени словно легла ненароком на прозвище «Бандер». В нём отчётливо слышалась нотка осуждения, с каким окружающие относятся к людям, чьё поведение вызывает неприязнь.

— О-о, цэ така людына!.. — качая головой, говорил дядька Иван, и неподдельное уважение в его голосе странным образом смешивалось с недоумением и явным неодобрением.

Из дядькиных рассказов я понял, что мой двоюродный дед, упрямый и своенравный, был человеком ну очень необычным.

* * *

В Первую мировую Дмитро Ященко был призван в армию, в село вернулся с ранением и контузией. Когда началась Гражданская война, он, выросший в бедняцкой семье, пошёл воевать на стороне красных. Получив от победившей власти землю, выстроил новую хату, завёл крепкое хозяйство. А в коллективизацию наотрез отказался

вступать в колхоз, за что сельские активисты не только отобрали у него землю, но и выселили вместе с женой и тремя детьми из собственной хаты. Он не сдался, поехал в Харьков, тогдашнюю столицу Советской Украины, и показал, где надо, документы, подтверждавшие его заслуги в борьбе за советскую власть. Из Харькова пришло распоряжение: оставить единоличника Ященко в покое, хату ему вернуть и выделить пятнадцать соток при усадьбе.

А тут как раз, очень для него кстати, по всей округе развернулись лесопосадки (весёлый лесок, где мы с Володькой собирали грибы, тоже был посажен в ту далёкую пору). В селе появился лесхоз, в который Дмитро Ященко поступил рабочим — и состоял в штате лесхоза лет тридцать подряд, до недавнего времени. То есть фактически он давным-давно относился к рабочему классу, а никак не к крестьянству.

Тем не менее его на селе до сих пор считали единоличником.

Никому в голову не придёт называть так сельского учителя или фельдшера, имеющих те же пятнадцать соток и скотину при дворе. А его называли. Во-первых, по старой памяти: отказался же он в своё время вступать в колхоз. А во-вторых, потому что во всём дед Бандер был наособицу, сам по себе. Ни с кем не считался.

* * *

Жил он по-прежнему в той же хате, что построил после Гражданской войны, с женой и двумя дочками. Сын Яков, танкист, в войну погиб на фронте. Все знали, что дед Бандер до сих пор горюет по сыну. Отцово горе, наверное, и было тем единственным, что могли понять люди в этом странном человеке.

Остальное не лезло ни в какие ворота.

Его дочери, как и он, никогда не работали в колхозе. Шили дома на швейной машинке всякую одежду: к ним даже из соседних сёл заказы везли. Им уже было — одной пятьдесят, другой за сорок, но обе так и оставались в девках: отец им, неизвестно почему, запретил выходить замуж. И жена, и дочери перечить ему не смели.

«Вин дуже божественный!» — говорил дядька Иван. За стол, не перекрестившись, не сядет и

дочерям не позволит. В этом не было бы ничего необычного — ну и что, человек-то пожилой! — но нелепым выглядело то, что в их доме не было ни часов, ни радио: говорили, будто бы он считал, что в них — «нечиста сила». И электричество в хату провести якобы по той же причине не разрешил. При этом — что уж вовсе непонятно! — выписывал московские и киевские газеты, читал их и аккуратно подшивал.

Всю жизнь дед Бандер держал быков. Купит телёнка — и ухаживает за ним как за малым ребёнком, пока тот не вырастет в могучего быка. Зачем ему была нужна такая канитель — никто в селе тоже не мог понять. Пару раз в году, надев быку на шею тяжёлое деревянное ярмо, запрячь его в телегу, чтобы привезти воз торфу с лугов на топливо и ещё кое-что по мелочи, и ради этого платить за рогатого дармоеда немалый налог? Между тем великолепные, ухоженные быки деда Бандера на районных выставках из года в год занимали первые места — пока власти, в конце концов, не закрыли «единоличнику» доступ к выставкам, чтобы не срамил колхозных животноводов.

Последнее время, правда, он быка не держит: уход за такой скотиной стал уже не по силам. Зато теперь у него конь.

— О, ты побачишь того коня! Красавцы! И ходит за дидом, як собачка!

* * *

И вот — это было незадолго до празднования Спаса — мы отправились в соседнее село в гости к деду Бандеру. Идти было — километров пять. Катя, проводница наша, — впереди, Наташка с нею. Я иду сзади, гляжу по сторонам, запоминая дорогу. Она тянется вдоль бесконечного яблоневого сада. Пару раз фотографирую своих спутниц, но плёнку экономлю: надо оставить и для деда.

Через час мы уже входили в село. По обеим сторонам дороги потянулись высокие плетни. У одной из калиток Катя остановилась.

— Вот здесь они живут. Заходи в калитку. Завтра ждём тебя назад.

И они с Наташкой побежали дальше — торопились в здешний клуб, где, как Катя заранее узнала от знакомых, ожидался концерт каких-

то приезжих артистов. Домой девчонки должны были вернуться после концерта на колхозной машине.

Я вошёл во двор. От сарая к крылечку хаты шла старушка в длинной чёрной юбке, сером мужском пиджаке и в чёрном платке, из-под которого выглядывала плотно завязанная белая косынка. В руках у старушки был пустой эмалированный тазик. Увидев меня, она поставила тазик на крылечко, шагнула навстречу. Ладонкой ловко выпротала из-под платка ухо и, оттопырив его в мою сторону, весело спросила:

— Чого тобі, унучок?

Лицо у неё было добродушное, на щеках играл свежий старческий румянец. Это, видимо, и была жена деда, баба Приська — Ефросинья то есть.

Я громко представился: кто такой, откуда приехал. Она обрадованно заохала, провела меня в хату, сказала: «Ганка, позови дида!» Ганка (старшая дочь, как я уже знал), женщина с суровым лицом, поздоровалась со мной кивком головы и поспешно вышла.

Баба Приська объяснила, что дед сейчас нагоріще — на чердаке хаты, чинит там какой-то комын.

— А Варка зараз на роботы, у лесхозы.

Я подумал: ага, значит, младшая дочь, Варвара, всё же на людях жить начала!

Огляделся. Хата, как и у дядьки Ивана, с русской печью и глиняным полом. Вдоль стен — лавки. В углу под иконой, убранной шитым рушником, в стеклянной лампадке светит огонёк. Справа — дверной проём в другую комнату, там виден угол большой скрини на колёсиках.

Ганка (вообще-то она, как я знал от дядьки Ивана, была Галина) вернулась и сказала:

— Зараз прийдэ.

Дед вошёл. Он был невысок ростом, с вислыми запорожскими усами, пышными и седыми. Серые глаза влажно поблёскивали из-под большого, шириной в полторы ладони, козырька кепки. Мне уже было известно: из-за старой фронтальной контузии глаза у него больные, один совсем почти не видит, и дочку шьют ему кепки с таким козырьком — для защиты от прямого света.

Одет он был, как и многие на селе, простецки, удобно для всякой работы — серая рубашка на выпуск, затрапезные штаны. А вот обуви такой я

ни у кого не видел: верёвочные постолы с обмотками (онучами) были у него на ногах. По-русски говоря, это были те же лапти, только плетённые не из лыка, а из верёвок.

— Здравствуйте! — Он степенно подал руку. — Дмитро Артэмонович Яценко. А вас, я забыл, — как?..

— Владик, — ответил я.

— Батьку Гриша зовут... Владык Григóрович, значит.

Рукой указал мне на лавку: «Прошу!», сам сел напротив на тут же подставленную дочь табуретку. Не спеша достал из кармана гильзу винтовочного патрона, вынул пробочку, вытряхнул на ладонь немного мелкотёртого табака и заложил по щепотке в обе ноздри. Глаза его ещё больше увлажнились и заблестели.

— Так-так. Значит, погостевать приехали? Надолго?

— Да нет, скоро уж назад. Первого сентября надо в институте быть. Ехать-то целую неделю, а то и дольше.

— О-о! — нахмурившись, покачал он головой.

Поинтересовался здоровьем родителей, чем они занимаются. Спрашивая, поглядывал на меня коротко, но внимательно, и снова отводил взгляд. Минут через десять он поднялся, сказав, что его ждёт дело.

— Отдыхайте пока, Владык Григорович. Сходите до клуба, погуляйте.

Я вышел со двора и не спеша побрёл по улице, тесно сжатой с двух сторон плетнями. Поверх плетней выпирали на дорогу сады. От плодов на ветвях рябило в глазах. В одном из дворов высилось сухое дерево с гнездом из прутьев, а в гнезде — знакомая картина — стоит на одной ноге аист, сунув голову под крыло. Во всех, что ли, местных сёлах живут аисты?..

Почему-то здесь ещё больше, чем в нашем селе, чувствовалась старина. Дорогу между плетней устилала толстым слоем мягкая пыль — в ней тонула нога. Я представил, как красные партизаны Гражданской войны скачут вдоль по улице и толстая эта пыль глушит стук конских копыт и, поднимаясь облаком, оседает на листве яблонь. Свернул на другую улицу, она была вымощена настоящим старинным, бог знает сколько

десятилетий назад уложенным булыжником — из него конские подковы, наверное, искры высекали! Мог тут скакать когда-то и Дмитро Яценко с кавалерийским карабином, а может, и с саблей наголо, хотя представить только что виденного деда молодым, без седых усов и слезящихся глаз, у меня никак не получалось.

Мощёная улица привела к клубу, из открытого окна которого слышалась музыка. Вокруг клуба, ничем не огороженные, росли яблони, все в яблоках. На волейбольной площадке несколько подростков с азартным стуком пересылали мяч через сетку. На них были «стильные» рубахи на выпуск, расписанные пальмами.

Обойдя почти всё село из конца в конец, я вернулся и по драбыне — приставной лестнице — полез к деду на горище, под соломенную, с крутыми скатами, крышу.

— Помогу вам.

Дед удивлённо посмотрел на меня, с обычной деревенской вежливостью возразил: устали вы с дороги... Однако долго отказываться не стал.

— Кóмын, а по-вашему — дымарь, — показал он рукой на свою незаконченную работу — четырёхугольный каркас из свежоошкуранных ивовых жердей и прутьиков.

— Дымоход? — сообразил я. — А не опасно, что он из дерева?

— Ни. Я его потом обмажу глиною.

В общем-то, каркас дымохода был почти готов. Оставалось лишь вставить десятка два поперечин. Дед делал разметки, а я сверлил коловоротом отверстия, куда мы вставляли очищенные от коры прутьики.

— Ну, пойдёмте вечерять, Владык Григóрович, — сказал дед Дмитро. Видно было, что помощью он доволен, и не столько самой помощью, сколько тем, что внук оказал ему уважение, а не пошёл болтаться по селу с местными лоботрясами.

Мы спустились в хату. Там баба Приська и вернувшаяся с работы Варка, шустрая, ещё не старая бабёнка, накрывали на стол. Скоро пришла от соседей Ганка, принесла полбутылки мутного самогона.

Зажгли керосиновую лампу. Они все — сначала дед — перекрестились на обрамлённую вышитым рушником икону, под которой мерцала тихим огоньком лампадка. Сели вечерять, то

есть ужинать. Ганка всем, кроме бабы Приськи, налила самогону: деду — чуть закрыв донышко, мне — полную стопку, себе и Варке — по полстопки.

Дед расспрашивал меня о жизни в Сибири — здесь Дальний Восток почему-то упорно называли «Сибир».

— И картопля растёт?.. — удивлялся он. — И помидоры?..

Я отвечал, что у нас только зимы холодные, а летом бывает иной раз и жарче, чем здесь. Дед не очень-то верил, сокрушался: и зачем мы там живём, в этом Сибири, вертались бы сюда, здесь и родина, и жить веселее. Женщины на эти слова согласно кивали: «Так, так, треба вам суды переихать!» Но в разговор они не вмешивались, хотя слушали внимательно (баба Приська то и дело оттопыривала ухо ладошкой).

— И на кого же вас в вашей школе учат? — спросил Дмитро Артемонович.

— В институте-то? Буду учителем русского языка и литературы. — Глянув на деда, я посчитал нелишним добавить: — Старославянский язык тоже изучаем. Чтобы лучше в русском разбираться. Так что по-церковнославянски тоже читать могу.

Дмитро Артемонович подумал немного, потом встал из-за стола и ушёл в другую комнату, велел дочкам запалить там свет. Минут через пять, порывшись, очевидно, в той огромной скрыне на деревянных колёсиках, которую я заметил в дверном проёме ещё днём, он вынес книгу.

Я никогда не видел церковных книг и не уверен, что именно это было — «Часослов» или «Псалтирь». Заглавие на переплёте он мне не показал, а положил передо мною раскрытую книгу и ткнул пальцем:

— А ну-ка, тут прочитай! — Наконец-то он перешёл на «ты».

Я бегло оглядел страницу. Шрифт был знаком: тот же полуустав, что и в учебниках старославянского. Ни «ять» с «фитой» и прочие подобные буквы, каких давно нет в русском алфавите, ни даже сокращённые слова с надстрочными титлами никакой загадки для меня не представляли.

Я легко прочёл вслух там, где он показал:

«Помилуй мя, Боже, повелицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие

мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очистишь я...»

Готов был продолжить, но дед закрыл книгу, отнёс её на место и, вернувшись, снова сел за стол. Я видел мелькнувшую на его лице довольную улыбку. Однако ни о церковных книгах, ни о религии больше не было сказано ни слова.

Спать легли довольно рано. Мне в маленькой комнатухе постелила младшая дочь, сорочкачетырёхлетняя Варка — та, что работала в лесхозе. Подушку как следует взбила, а когда я улёгся, одеяло поправила. Унося зажжённую лампу, сверкнула на прощанье весёлыми карими глазами и улыбнулась. Я подумал, что не так-то уж она и забита властным отцом и что хоть и не замужем, а кто-то у неё наверняка есть. Ну, так это же хорошо!

* * *

— Покажу тебе своего коня, — сказал Дмитро Артемонович утром. Одет он был, как я понял, «по-выходному» — на нём был серенький пиджачок и чистые брюки, и на ногах не верёвочные постолы с онучами, а яловые сапоги.

Ко двору прилегал длинный сарай, тоже крытый, как и хата, соломой. В нём, помимо прочего, была и конюшня.

Дед вывел коня. Это был молодой мерин, гнедой, в белых чулках и с белой полосой, которая шла из-под чёлки через весь лоб вниз до самых ноздрей.

— Как зовут? — спросил я.

— Лыско, — сказал дед и предостерёг: — Ближко не подходи, он пугливый, може вдарить.

Я отступил шага на два. Конь нервно пританцовывал, косился на меня.

«Лыско» — это, как мне давно было известно, обычная кличка лошадей с белой отметиной на лбу. У нас в Завитой в годы моего детства грузы и для магазинов, и для школ возили на телегах лошади. Разные они были: и смиренные клячи, дремавшие на ходу, и вредные кобылки, способные куснуть тебя за плечо. Был даже возивший фургон с хлебом медлительный гривастый битюг с широкими, как чугунные сковородки, копытами, похожий на коня Ильи Муромца (знатоки из пацанов говорили, что это владимирский тяжело-

воз). Но таких подтянутых, грациозных коней, как дедов Лыско, среди них не попадалось.

— Дончак? — спросил я — тоже не без желания изобразить знатока.

— Ни, мэтусь, — рассеянно бросил дед, оглядывая коня с головы до ног. Вид у деда вдруг сделался мрачным. Так мрачнют не от недовольства, а от сознания значительности того, чем обладаешь, от неусыпной тревоги за своё сокровище.

«Мэтусь... Наверное, метис... Полукровка — или вовсе беспородный?..»

Но уточнять я не стал, а расстегнул футляр своей «Смены-2»:

— Давайте я вас на нём верхом сфотографирую!

Ганка, старшая дочь, притащила из конюшни войлочный потник и набросила на спину коня. Дед проверил, ладно ли потник лёг, немного поправил его. Ганка вынесла из хаты табуретку, поддержала повод, пока дед с табуретки взобрался на коня, и поспешно убрала её в сторону.

Я установил диафрагму, навёл резкость и взвёл затвор:

— Внимание!

Лыско, будто поняв, что от него требуется, замер и тоже, как и его седок, уставился в объектив. Мягко щёлкнул спуск.

Коня отвели опять в конюшню, а дед сказал:

— Покажу мою майстэрню.

Я вспомнил дядьки Ивана слова: «Вин дуже багатый. У него в майстэрне чого тильки нэмае!» — и с любопытством пошёл за дедом.

Майстэрня — мастерская — располагалась всё в том же длинном сарае под соломенной крышей. В неё вела отдельная дверь. Дед открыл висячий замок, и мы вошли в пыльное помещение, больше похожее на склад.

В самом деле — чего там только не было!

На длинном верстаке, аккуратно разложенный, красовался разнообразный инструмент: и слесарный, и столярный, и плотницкий, всё в отличном состоянии и превосходного качества, особенно фуганок и несколько рубанков разного вида и назначения — они, тщательной старинной работы, явно достались хозяину ещё от отца, а может, и от деда. Прекрасно заточенные, лежали в ряд стамески, долота, бондарный наструг,

ножницы по железу, свёрла, плотницкий топор, столярный топорик...

— Ух ты, здóрово! — сказал я. Дед довольно кивнул.

У нас в Завитой, где жизнь мало отличалась от сельской, мужики, придя с работы, брались за лопату, или за косу, или за пилу, а кто и за рубанок. И я знал, что у любого из них вызвал бы зависть такой арсенал принадлежностей, необходимых толковому хозяину.

Но всё остальное, что заполняло майстэрню, вызывало грусть. С десяток старых, покрытых многолетней пылью пчелиных ульев, такой же древний и такой же давно не нужный рыбацкий бредень. Телячьи шкуры, когда-то высушенные, приготовленные к выделке, да так и оставшиеся стоять уже много лет прислонёнными к стене. А вот и вовсе экспонаты для музея: тяжёлое деревянное воловье ярмо, чугунная ступа, в которой давно ничего не толкли, а рядом с нею — позеленевший медный пест... И много ещё пылилось тут такого, что трудно было назвать богатством.

Как же интересно получается, думал я, следуя за дедом в хату. В здешних сёлах все нынче строят себе дома под шифером или железом, просторные, с деревянными полами. Про это мне от дядьки Ивана известно, а ему ли не знать. Дядька Иван и сам с радостью променял бы свою хату на такой дом — но у него хватило средств только соломенную кровлю заменить на железную. Коней в личных хозяйствах нынче не держат — так зато, я и сам вижу, мотоциклы сплошь да рядом... Но почему-то деда Бандера, который живёт в старой хате под соломой, с глиняным полом, и ходит по двору в верёвочных лаптях, по-прежнему продолжают на полном серьёзе считать богатым.

Он и сам, похоже, считал себя таким.

* * *

А ещё говорил мне дядька Иван:

— Вин такой грамотный, любит побеседовать про всяку всячину.

И когда после завтрака мы с дедом Дмитро отправились на луг пасти коня, я уже догадывался, что нас ожидает беседа. Меня разбирало любопытство: о чём же она будет?

Прошли улицу, где мягкая пыль, толстым слоем лежавшая на дороге, глушила стук некованных копыт Лыско. Прошли овраг за селом, потом сжатое ржаное поле в скирдах, и вышли к широкой луговой низине, где жители окрестных сёл заготавливали торф на топливо. Печки здесь все топили торфом.

Дед стреножил коня и отпустил его пастись. Тот, далеко не отходя, принялся щипать траву. Мы, подстелив ватные телогрейки, сели под молодую грушу, что выросла самосевом на самом краю луга. Отсюда, с небольшого возвышения, открывалось светло-зелёное луговое пространство, по которому были разбросаны пирамидки из уложенных на просушку торфяных кирпичей, а рядом с каждой пирамидкой чернел четырёхугольник — маленький торфяной «карьерчик», откуда эти кирпичи были вырезаны.

Дмитро Артемонович достал из кармана пиджака винтовочную гильзу, вытащил пробочку, но табак вытряхивать не стал. О чём-то думая, рассеянно снова заткнул её и сунул гильзу обратно в карман.

— Вот шо я тебе скажу, Владык Григорович... Но только... — он понизил голос, — ...ты никому ни слова! А то не дай Бог... Меня эту же ночью не станет...

Дед вопросительно глянул на меня: услышал ли я его просьбу?

Немного удивлённый, я кивнул: конечно же, никому не скажу.

Он продолжил:

— Ты вот учишься — это хорошо. Ты книги читай, но вывод сам делай. А то в них багато чего понапишуть. Вот говорят: природу побороть можно. Брехня! Побороть нельзя. Приспособиться можно. Природа — она ж на месте не стоит. Она меняется. Поворачивается, как колесо: где был верх, там станет низ... Где пальмы всякие росли, там ледяное море разлилось... Была одна стадия — а потом прийшла другая стадия...

Он помолчал, окидывая взглядом луговую ширь.

— Я вот так коня пасу — и думаю про природу, про колесо это... А наука — она тоже свои стадии проходит. Лет через пятьдесят будет другая наука, а потом знову другая...

Всё так же глядя в сторону луга, что-то вспомнил.

— Пишуть: до Солнца от Земли сто пятьдесят тысяч километров. Брехня! У нас на полюсах лёд лежит и не тает — так? А ты запали эту кучу торфа... — он указал на ближнюю к нам торфяную пирамидку, — ...а потом надень на рожон яблоко и поднеси. Никаких полюсов на нём не будет!

Меня такой пример озадачил — но я спорить не стал.

— А возьми радио. Ну да, его люди сделали. А шо воно такое — радио?.. Ну-ка, скажи! — потребовал он с явной подначкой и выжидательно уставился на меня.

— Радио?.. Ну, это... — я замялся, подыскивая внятный ответ.

— То же самое, шо и уxo! А ты думал!.. — победно воскликнул он.

Не давая мне опомниться, с напористой убеждённостью развил свою мысль:

— У нас там, в ухе, тоже есть и пластмасса, и всё там есть!.. Мы так созданы!

Кем созданы — не сказал, но это и так было ясно.

— А ты попробуй... — он показал рукой на стоящую неподалёку плакучую иву, — ...вот такую вербу сделать. — И торжествующе заключил: — Не сделаешь!

Хоть и насмешила меня «пластмасса в ухе», но не только она запомнилась. В словах деда я ощутил не просто убеждённость, а что-то гораздо большее.

Возможно, в тот раз — первый и единственный раз за всю свою жизнь — мне довелось услышать, как звучит в живом человеческом голосе искренняя, безоглядная на грани безумия, все сомнения сметающая вера.

Сейчас пишу об этом — и поневоле вспоминается, как много позже, в девяностые, маялись по церквам, натягивая христианское благолепие на прожжённую аппаратную харю, вчерашние идейные богоборцы, держа в руке вместо рюмки свечку. Вот у кого пластмасса была внутри...

Надо отдать деду Дмитро должное: видимо, понимая, что имеет дело с молодым человеком, далёким от религии, он не стал пускаться в длинную проповедь. Тему веры в Создателя, лишь слегка затронутую, завершил лаконично и веско.

— А те книги... — произнёс он с нажимом и сделал паузу, чтобы я понял, что это книги цер-

ковные, — те книги ты читай. У меня бык был. Как увидит, шо я его куда-то не пускаю, в ярёк какой-нибудь, сразу поймёт: там есть чем поживиться. И побудет в том ярку непременно! Так и ты делай.

Важность чтения тех книг он открыл мне и с другой, совершенно неожиданной стороны:

— Я на трёх языках говорю! На украинском, на русском... А поеду в Японию или в Туретчину — там тоже есть православная церковь — я и на церковном поговорю. И с ихним попом, и с тем, кто по-церковному читает... О-о, это тайна, а ты как думал! Только смотри — никому!..

Он опять строго посмотрел на меня. Я поспешил кивнуть.

— Я грамотный, кое-чего знаю. Конечно, не по-вашему, не по-теперешнему... Я, когда с германской войны, да после госпиталю, до дому добирался, то на разных митингах побыл. Наслушался всего. Один одно говорит, а другой — другое... Каждый за своё агитует, а я слушаю и розмышляю. О-о, теперь вы такой науки не увидите!..

Тут я, помнится, подумал: а ведь правда — мы такого не увидим. Даже немного позавидовал ему. Потом спросил:

— Ну, а в школе-то вы учились?

— А як же, три класса земской школы закончил. Не дуже багато, это так. Зато книг за всю жизнь прочитал пуда три, а то и больше.

Я, конечно, оживился:

— И кто из писателей вам нравится?

Ожидал, что первым он назовёт Шевченко, но дед, на минуту задумавшись, восторженно поднял вверх указательный палец:

— О! Никитин!

И прочёл две строчки, размеренно, с чувством:

*Звёзды меркнуть и гаснуть, в огне облака,
Белый пар по лугам росстилається...*

Вторым — также с восклицательным «О!» — был назван Некрасов. Третьим похвалил Тараса Шевченко.

А дальше пошло ошеломительное:

— Пушкин — дурак! Толстой — дурак, бандит! Он хотел, чтобы крестьяне спины гнули на помещиков.

Я так и не понял, с чего это он на Толстого такую вину возвёл. А вина Пушкина прояснилась чуть позже, когда речь зашла о царях.

Далее оказалось, что лучше всех из писателей всё-таки не Никитин:

— Крылов — самый первый! — И Дмитро Артемонович без запинки прочёл — прямо-таки оттарабанил — всего «Лебедя, Рака и Щуку», от начала до конца. Выходит, неплохо учили детей в земской школе. А следом вспомнил слова Мухи, ехавшей на рогах быка:

— «Мы пахали...» Это он про агрономов!

Мне, между прочим, про эту басню сейчас хотелось бы умолчать, но уж больно рассмешили меня «агрономы». Что ж, придётся признаться: я ведь, как и дед (и как я замечал, многие почему-то тоже), автоматически считал, что «Муху» написал Крылов. Только осенью того же года, на втором курсе, с удивлением «уточнил», что автор — современник Крылова, полузабытый баснописец Дмитриев. Поэтому уж кому-кому, но, увы, не мне снисходительно поглядывать на деда с филологической высоты.

Он ещё о ком-то из классиков говорил, теперь уж не восстановишь. Но хорошо, что я догадался спросить:

— А как вам современные писатели?

Дед подумал какое-то время, потом усмехнулся и кивнул на коня, который так и пасся неподалёку:

— А они — як мой Лыско. Я его стреножил — он травичку щипает.

Это сравнение привело меня в восторг. Потом, вернувшись в Благовещенск, я с упоением юного фрондёра цитировал приятелям язвительные дедовы слова про современных, которые травку щиплют.

* * *

Сегодня я, пожалуй, сам себя бы одёрнул: не все советские писатели заслуживали такой издёвки!

Хотя... не все-то не все — однако ведь многие. Одни больше, другие меньше.

Сравнение, что ни говори, примечательное.

Наверное, любому писателю не мешало бы держать его в памяти, чтобы сохранять трезвость

самооценки и не слишком опьяняться собственной отвагой. А то иного прочтёшь, обалдеешь: как смело пишет!.. А приглядишься — он травку щиплет. Являет смелость там, где дозволили. В хрущёвскую оттепель дозволили в одном месте, в перестройку — в другом. Нынче, в постсоветское время, казалось бы, пасись где хошь, ан нет: так и норовят стреножить тебя как миленького — если не пастухи-либералы, то пастухи-патриоты. Или туда не пустят, или сюда...

Всё так. Но, если хорошенько подумать, разве где-то когда-то было по-другому?..

Так что брошенное дедом шестьдесят лет назад замечание, надо признать, толкает к размышлениям, которые, если в них углубиться, могут оказаться довольно неожиданными.

* * *

От писателей перешли мы к правителям.

На Петра Первого Дмитро Артемонович обрушился с безудержной яростью:

— Дурак, бандит...

— Ну как же... — заикнулся было я. — Он много для страны сделал...

— Ничего вин не сделал! Людэй мучив тилькы. Строгий був!.. «Люблю твой строгий вид!» — с отворачиванием в голосе проговорил дед строчку из «Медного всадника». — Я через это и Пушкина не люблю!

Меня не просто удивил, а даже восхитил такой внезапный речевой кульбит, в котором слово «строгий» лихо перекувыркнулось — и уже в значении «свирепый» перелетело от города к его основателю.

— Ни стыда в нём нэ було, ни совести! — продолжал распаляться дед, в гневе чаще обычного сбиваясь с русского на украинское произношение. — У нас тут один из села поихав у Ленинград, потим вернувся, пороссказував... В тому дворци, дэ Петро Первый проживав, люды голые, из каменю повыделаны, стоять. И жинки, и чоловики — вси голые! А Петро там со своими дитямы ходыв — тыфу!

Он сплюнул и довольно долго молчал, остывая. Но потом, вспомнив про другого правителя, сбавил тон:

— Иван Грозный — тот ещё ничего, он татар розбил...

И внезапно воодушевился:

— Александр Второй — во! Он турок розбил! Если бы не он, турки бы нас одолели. Нас бы не было!..

Я прикинул: а ведь как раз при этом царе, судя по всему, и воевал с турками бомбандер — дед Дмитра Артемоновича, а мой, значит, прапрадед. Хотел было поддакнуть, напомнить, что Александр Второй ещё и крепостное право отменил...

Но дед, видно, уже перенёсся в другую эпоху. Минуты две задумчиво глядел вдаль. Потом, качнув головой, произнёс такое, чего я никак не ожидал от него услышать:

— Ленин!.. Встал бы он сейчас да посмотрел...

И тоскливо махнул рукой.

Я уставился на него в полной растерянности. Эти слова о вожде — слово в слово — мне приходилось слышать не раз. Они сами собой вырывались у многих, и старых, и молодых, как привычная реакция на идиотство и враньё властей. Но теперь я ушам своим не поверил, что слышу их от него — от того, кто был ярым противником колхозов, а значит, по логике, противником и самого Ленина...

А дед, словно не замечая моей оторопи, признался, как в чём-то очень для него важном:

— У меня было шесть книг «Ленинизм». Я их все читал. А когда немцы пришли — сжёг.

* * *

Найдя в своей старой тетрадке эту запись о «шести книгах», я сильно засомневался: что за книги? Полез в интернет. Оказалось, точно: были такие брошюры! Шесть выпусков, выходивших в «Московском рабочем» в 1930–1931 годах. Так и назывались: Ленинизм (одногодичный курс). Серия пособий для слушателей марксистско-ленинских кружков, вечерних совпартшкол второй ступени, заочников партшкол и для кружков самообразования.

Вот тебе и единоличник...

* * *

Однако это было не всё. Меня ждал главный сюрприз.

— Сталин!.. О! — воскликнул дед Дмитро. — Самый лучший правитель!

В его восклицании прозвучала такая глубокая убежденность, такая непоколебимая вера в сказанное, что я опять впал в ступор, не зная, как к этому отнестись.

Самый лучший правитель?..

Мне было десять лет, когда начали громить культ личности... Ещё жива была память о том величайшем благоговении, с которым произносилось в мои ранние детские годы имя Сталина. И, положив руку на сердце, я пока ещё не мог сказать, что это благоговение, впитанное мною в очень юном возрасте, совсем покинуло меня. Оно ещё обитало в закоулках сознания. Но теперь мне было восемнадцать. Все предыдущие годы я рос в ежедневном открытии страшных подробностей о репрессиях, о многих сломанных судьбах. Замечательные фильмы и книги выходили обо всём этом... «Рябой бандит!» — называл недавнего полубога и наш институтский преподаватель истории партии — участник Гражданской войны, один из первых на Амуре комсомольцев, он в конце тридцатых побывал в благовещенском подвале НКВД, где его жестоко пытали...

И теперь — услышать такое?..

— В войну Сталин нас спас! — всё с той же глубокой убежденностью сказал дед. Он, по сути, повторил то, что было многократно и вполне обоснованно — как мне тогда казалось — опровергнуто в книгах и журналах, в кино и по радио.

А ещё, понизив голос почти до шёпота, как сокровенную тайну, он сообщил:

— Сталин же учился на патриарха! То, что он был сыном сапожника, — брехня! Он сын графини! Она была грузинка...

Мимоходом, но с явным сожалением, добавил:

— Сначала он начал доброе дело делать, а потом сбился...

Я не стал уточнять, в чём сбился Сталин. Наверное, Дмитро Артемонович имел в виду колхозы. Хотя — почему потом сбился? Колхозы-то случились раньше, чем война... Впрочем, это мне было уже неважно. При всём почтении к моему необычному родственнику ну никак я не мог в ту пору, настроенный антисталински, антикультовски, согласиться с восторженной оценкой раз-

венчанного вождя. Оставалось принять слова старика как возрастное чудачество — и не спорить.

Тем более что дальше спорить было особенно и не о чем, поскольку речь зашла о правителе, бывшем тогда у власти.

Тут вердикт деда был презрителен и краток:

— Хрущёв — дурак!

Он не стал распространяться о том, что у всех в зубах навязло: о хрущёвском стремлении всё заставить кукурузой, о притеснении личных хозяйств, о позорном бахвальстве насчёт перегнать Америку по производству мяса, молока, масла...

Сказал о главном: о том, что вытворяют при Хрущёве «они» — то есть те, которые пользуются своей близостью к власти.

— Нахватают добра и тикают за границу. Дачи там себе понастроили. Жиры из страны вывозят. — И с нажимом пояснил: — Жиры земли!

Эта выразительная формулировка впечатлила меня попаданием в самую суть вещей. Я невольно заулыбался.

А он покосился на меня — и вдруг сурово проговорил:

— Ты особенно баб берегись. От баб всё зло. Понасели в учреждениях — а за ними любодеи! Эти гады там и пануют, страну проматывают.

Я разинул рот, не найдя что сказать. И смешно стало, и неловко. Конечно, я не мог судить о том, что делается в недрах учреждений, а тем более — важных учреждений. Но бабы... Эта сторона жизни, обжигающая и притягательная, уже была мне, как я полагал, знакома. Во всяком случае, я успел узнать там и захватывающее дух торжество, и невыносимую душевную боль. Успел столкнуться и с тем, что женщина — это изо дня в день всё новые загадки, ставящие тебя в дурацкий тупик (не знал только, что на эти тупики так и предстоит наткнуться всю жизнь, потому что мужик ничему не учится). Но — вешать на женщин политику?.. Чего это дед так-то уж на них осерчал? «Всё зло от баб...» Развратники пануют — а бабы виноваты? И кстати, зачем он (мелькнуло в голове) дочек своих засушил в старых девках? Чтобы зло не множить? «Баб берегись...» С чего бы мне их беречься? Чудит старик...

Однако я слабым кивком показал, что принял совет к сведению.

Дед снова покосился на меня. Моё неуверенное молчание не внушило ему доверия. Он пожевал губами, вздохнул и тоже помолчал.

Потом вернулся к прерванному ходу мыслей.

— Ни-и-и!.. — сокрушённо протянул, качая головой. — Такого, як сейчас творится, ещё не было. Раньше всё лучше было — хоть при Сталине, хоть до него. Хозяйство — любое, и коллективное тоже, — от слова «хозяин». А хозяйина нема.

Нам уже пора было возвращаться. Он, однако, ещё долго говорил, горячась. Много из его последних речей, выстраданное, далеко не пустое, хоть и скомканное второпях, уже не припомнить.

Но, как завершение всего нашего разговора, запали в моё сознание такие его слова:

— Запомни: мудрый никогда не правит — а сильный!

Это утверждение прозвучало, словно библейский завет, — неуклюже, но чеканно. Когда потом я записал его слово в слово, оно мне показалось немного скособоченным, что ли. Хотелось чуть-чуть поправить стиль, добавить уточнение, сделать оговорку.

Теперь вижу: уточнения, оговорки, правка стиля — это лишь суетливое мельтешение недозрелого ума. Понимающий и так поймёт спрессованный в несколько слов ёмкий смысл:

Мудрое правление, не охраняемое силой, неминуемо рухнет.

К сожалению, конечно.

Но так устроен мир.

На исходе того же дня я попрощался с дедом Дмитро, бабой Приськой, с дочками Ганкой и Варкой. Что они мне говорили в напутствие, что я им отвечал — всё это, как и многое другое, забылось за давностью лет.

Я мог бы тогда догадаться, учитывая возраст деда и разделявшие нас огромные расстояния, что прощаемся мы навсегда. Но разве в юности задумываешься о подобных вещах?

Из всех подробностей прощания врезалась в память только пронзительная тоска в больших, слезящихся по причине фронтальной контузии глазах старика.

Я быстро шагал по знакомой дороге вдоль

бесконечного фруктового сада — и к вечеру уже был в хате дядьки Ивана. А утром поскорей залез на горище. Там, в тишине, торопливо стал заносить в свою тетрадку то, что увидел и услышал во время хождения в гости к деду. Напряжённо восстанавливал в уме детали, боясь упустить что-то существенное. Но, конечно, не всё сумел записать.

* * *

Последние наши украинские деньки пролетели мгновенно. Отпраздновали Яблочный Спас — и настало время отъезда.

Собрали и проводили нас замечательно. В чемодан, из которого за эти недели начисто выветрился рыбный запах, насыпали доплотна крышней — нарезанных ломтиками яблок, сушеных на русской печи, вперемешку с сушёными вишнями, — и он теперь благоухал вольным духом украинского сада. Тётка Маруся сварила нам с Наташкой в дорогу целую курицу.

Мы эту курицу на Московском вокзале, проголодавшись, за один раз всю и съели. Это был настоящий пир — и, увы, последний нормальный обед за все восемь суток пути.

Дело в том, что я в Москве не удержался от двух соблазнов: купил, во-первых, удобный, с кармашками, рюкзак (не один год потом он меня выручал), а во-вторых — толстый сборник рассказов и повестей Бунина. Ах, да — ещё мы увидели на лотке виноград, купили пару гроздьев, полакомились. И остались в кармане копейки — чуть больше рубля. Думал: пустяки, проживём на хлебе, да и на сигареты мне хватит.

Но хрущёвский дефицит на товары и продукты тем и отличался, что возникал непредсказуемо — это была лотерея наоборот.

В тот раз жребий выпал именно на хлеб — его мы за всю дорогу от Москвы до Завитой нигде на станциях так и не смогли купить. Да и дорога заняла, как назло, не обычные шесть-семь суток, а целых восемь: поезд оказался какой-то дополнительный, пущенный сверх расписания.

Еда на перронах, в общем-то, была — и беляши, и даже сосиски. Соседи по купе — толстая дама и толстый мальчик лет восьми-девяти — постоянно что-то ели.

Как-то на продолжительной стоянке весь вагон вышел поразмяться. Нам с Наташкой на последние копейки удалось купить в киоске два больших пирожка с ливером. Я сбегал в своё купе, положил их на столик и снова вышел на перрон: времени до отхода было ещё много.

А когда вернулись в купе, пирожки со столика пропали. Толстый мальчик сидел один на нижней полке и глядел в окно. Вошла толстая мама, положила на столик пачку печенья и кулёк конфет, поставила бутылку лимонада. Села рядом с сыном, отдуваясь и обмахиваясь платочком. Сынок сразу зашелестел бумагой, разворачивая кулёк.

— Натка, это ты пирожки спрятала? — спросил я.

— Не-ет... — удивлённо протянула сестра.

— Или я сам куда-то сунул?.. — На всякий случай заглянул под Наташкину подушку на нижней полке, потом встал и осмотрел свою верхнюю полку. — Куда ж они делись?

— Не зна-аю...

Впрочем, я уже догадывался...

— Ой! — сказала толстая мама. — У вас пирожки, говорите, были? Это, наверно, Вовик их скушал по ошибке!.. Вовик, это ты скушал?

Вовик молча кивнул.

— Ну вот! — довольно воскликнула толстая мама и, продолжая обмахиваться платочком, дружески нам улыбнулась.

Помогла разрешить загадку.

Ладно, с голоду не помрём. У нас крышеней целый чемодан. И кипяток в титане бесплатный.

Так, почитывая книжки, мы с сестрой — я на верхней полке, она на нижней — всю дорогу жевали помаленьку крышени, запивая их кипячёной водичкой. И ничего, доехали.

Никогда не устану повторять: нет худа без добра!

Разве при других обстоятельствах я узнал бы, как чудесно идёт проза Бунина под деревенские сухофрукты? В его «Лике», в «Антоновских яблоках» — та же самая, что и виденная мною на Сумщине, природа юга средней полосы. Я читал — а перед глазами вставали, уже как родные, огороды за плетнями, цветущие подсолнухи, соломенные крыши хат, яблони в зреющих плодах, просёлочная дорога в ржаном поле, усатые ко-

лосья ржи, извилистая река, поблёскивающая в густых вербах. И всем этим видениям придавал потрясающую живость сладкий волнующий запах сушёных яблок и вишен, доставаемых из нашего чемодана.

* * *

Вот она передо мной — тоненькая, всего двенадцать страниц, то есть шесть листиков (остальные шесть были пущены на письма домой), старая школьная тетрадка. На обложке надпись: «Украина, 64 г.». Записи в тетрадке — то карандашом, то наливной авторучкой.

«Куча» — плетёная 4-угольная корзина без дна, как раз под размер воза.

Полотняное бельё гладят не утюгом, а «качалкой»: наматывают полотно на круглую палку — «качалку» — и прокатывают зубчатым деревянным «рубёлем».

«Вершок» — сметана, сливки.

«Сметана» — то, что у нас варенец.

«Тютюн» — так здесь не говорят. Просто — табак.

«Як у саду пташка щебетала, тоді я рушник вишивала». Надпись, вышитая на рушнике.

Ну и так далее.

А на шести страницах — то, что я записывал на горнице хаты дядьки Ивана после встречи с дедом Дмитрием.

* * *

До обидного жаль, что не только многое я не записал, но о многом и вовсе его не спросил: где дед воевал в Первую мировую, с кем сражался их красный отряд в Гражданскую. Про сына Якова, танкиста, спросить хотел, да так и не решился: где тот погиб, были ли письма с фронта от него или от однополчан... Как не отважился и дипломатично полюбопытствовать, по каким всё-таки соображениям дед своих дочек замуж не выдал.

И о нашем предке бомбандере мог бы, наверное, выяснить у деда поподробнее. Правда, Дмитро Артемонович один раз сам упомянул, как достоверно известное и документами подкреплённое, что этот служивший в царской армии бомбардир происходил из козак.

— А козаки — они были кто? Бандиты они были! — И седоусый внук бомбандера с петушиным задором заключил: — Я козак! Я бандит!

Это была шутка — но гордость из неё торчала нешуточная.

Торопливы и хаотичны записи в старой тетрадке. И сам наш разговор был таким же торопливым и хаотичным. Часто я просто не успевал задать вопрос: не мог улучшить момент.

Причина этому — не только в моей нерасторопности.

Всё гораздо грустнее.

Как бы много ни хотел я выведать у него, но ещё больше он сам торопился высказать мне, нежданному гостю, нагрянувшему издалека. Пусть не наследнику в прямом смысле, пусть лишь двоюродному — но всё же внуку! А вдруг этот внук как раз и примет от него наследство? Нет, не хату под соломенной крышей, не майстерню с плотницким инструментом и старым воловьим ярмом, и даже не красавца коня. Вдруг случится великая милость судьбы — и внук станет наследником всего того накопленного дедом глубинного, сокровенного, бесконечно дорогого ему достояния, которое можно воспринять и умножить только душой и разумом в мучительных раздумьях бессонных ночей. Станет продолжателем его долгого и упорного пути к истине... И дед говорил, говорил, убеждённо, горячо, не дожидаясь моих вопросов, перескакивая с одного на другое.

Не думалось мне поначалу обо всём этом. Лишь через годы ужаснула запоздалая ясность: а кому бы ещё излил он душу? С кем поделился бы своей самодельной философией, своими неотступными мыслями о стране и мироздании, о прошлой и нынешней власти, о минувшей славе козацтва, о прочитанных книгах, наконец? Сына давно не было на свете, а дочери — что дочери?... Да и близких друзей у него, окружённого глухим непониманием, явно не водилось.

На меня дохнуло вселенской стужей его беспредельного одиночества.

Со стыдом вспомнилось, что через какое-то время после нашего отъезда — может, через год

или два — мой отец получил с Украины письмо, где среди прочего сообщалось: дед Бандер всё вспоминает про вашего Владика. Я тогда сказал отцу, чтобы он в ответном письме написал, что внук тоже его не забывает и передаёт ему большой привет.

Я и правда не забывал. И фотографию сохранил, где на фоне сарая с соломенной крышей сидит верхом на коне маленький дед с вислыми седыми усами, гордо восклицавший: «Я козак! Я бандит!» Не забывалась мне и не различимая на фото пронзительная тоска в его больших слезящихся глазах. Но, молодой-зелёный, я, рассказывая про него приятелям, не эту тоску упоминал, а, соблазняемый лёгкостью и дешёвизной производимого эффекта, подавал всё как курьёз: вот какой у меня дедок! Редчайший экземпляр. И прозвище-то у него — с ума сойти — Бандер! И единоличник-то он до сих пор, хотя все вокруг уже сорок лет как колхозники. Ну и, конечно, — про «пластмассу в ухе», про «строгого» Петра Первого...

Так же курьёзно выглядели в моей подаче и его совершенно непонятные чудачества.

В самом деле — ну чем объяснить категорический отказ провести в хату свет и радио? Нельзя же всерьёз повторять деревенские домыслы о том, что он, размышлявший о разных стадиях науки, будто бы видел в электричестве «нечистую силу». А тот же запрет дочкам выходить замуж — тут-то нечистая сила при чём? Курьёз, да и только...

Но — бог, как говорится, судья мне тогдашнему. Уже давно многое видится иначе. Теперь я думаю, что его чудачества в какой-то мере объяснимы.

Они — уродливый плод всё того же одиночества.

Одинокого противостояния миру.

После нашей встречи он прожил на свете ещё лет семь.

* * *

Представляется мне, как сидит он один под грушей на краю луга, где пасётся его конь, и всё продолжает мысленно наш разговор. Всё говорит и говорит далёкому внуку, живущему где-то

«в Сибири», о том важном, всей жизнью выстраданном, о чём не успел досказать.

Прости меня, Дмитро Артемонович! Мы с тобой теперь примерно ровесники. Хотя ты всегда будешь старше. Я ведь не гнил, как ты, в окопах Первой мировой, не бился в красном отряде за новую власть — и не упорствовал, как ты, перед этой новой властью, когда она пыталась согнуть преданного ей бойца. Но, может, мы поймём друг друга в главном.

Ты любил стихи и украинца Шевченко, и русского Некрасова. Ты уважал Ивана Грозного, однако презирал Петра Первого — и ненавидел Пушкина за то, что тот воспел Петра. Но это всё были поэты и цари не чужой, а твоей страны. Плохой ли, хорошей — но твоей. Тут же — и Александр Второй, и Ленин, и Сталин, и Хрущёв. Ты и хвалил, и ругал их со всей страстью, потому что их дела были тебе безразличны. Ты многое не принял в созданной ими и руководимой ими стране, но ты не мог представить себе эту страну ни под татарами, ни под турками, ни под немцами. Она оставалась твоей.

Помнишь, ты говорил мне: «Вы такой науки не увидите, какую мы прошли», — имея в виду семнадцатый год, когда закипали повсюду яростные споры, предвестие Гражданской войны. Ты, вме-

сте со многими тогда, сделал верный выбор. И твоя страна уцелела. За эту страну воевал твой сын — и она снова выжила.

Но ты ошибся в одном. Такую науку наше поколение, к сожалению, всё же увидело. Пришло время — и опять закипели бешеные споры. Только многие на этот раз сделали неверный выбор — и страна зашаталась. Как следствие, сейчас — совсем рядом с теми местами, где мы с тобой сидели на краю луга, — идёт страшная бойня. Страну пытаются окончательно разодрать на куски.

Мне верится, что ты сейчас был бы с теми, кто хочет её сохранить.

2025

Владислав Григорьевич ЛЕЦИК —

прозаик, поэт, журналист, редактор, член Союза писателей России (с 1995 г.), лауреат премии Амурского комсомола в области литературы и искусства (1985 г.),

Амурской премии в области литературы и искусства (2015 г.) и премии имени Л. Завальнюка (2016 г.)

Житель Амурской области. Родился 22 января 1946 года в городе Сковородино, детство и юность прошли на станции Завитой.

Окончил пединститут в Благовещенске, работал в редакциях местных газет.

Три года был штатным охотником зверопромхоза на севере области. В настоящее время живёт в Благовещенске.

